

Отовсюду и куда угодно: как писать историю грамотности и письменности в России раннего Нового времени

АНДРЕЙ
КОСТИН

«**W**orauf sich erhebt»¹ – абсолютно техническая, проходная и автоматическая конструкция, на которой дыбится несущий каркас, центральный механизм теории Маркса – резюмирующий пассаж из предисловия к «К критике политической экономии» (1859):

«Вся совокупность производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором воздвигается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания»².

Намеренно индустриальная метафора фундамента и возведенной над ним постройки преследовала у Маркса эмансипаторные и даже открыто более революционные цели: доказать, что идеальные, непосредственно нематериальные произведения правящих классов буржуазного общества – лишь производная от реального материального труда подлинно трудящихся; и, обосновав диспозицию сторон в этом споре о причинах и следствиях, произвести глобальный социальный переворот, который обеспечил бы в людских сообществах справедливое распределение ценностей и результатов труда. Вместе с тем, чтобы выстроить эту революционную теорию, Маркс вынужден опереться на – как самоочевидный, аксиоматичный, бесспорный – оборот (способ говорить, *Redensart*), вполне определенно фиксирующий «верх» и «низ» и наделение их метафорическими (социальными) значениями.

Это вполне техническое решение проецирует все разнообразие социальных позиций на градиент, располагающийся на одномерном векторе, соответствующем вектору земного притяжения. Писать «историю снизу» – значит оставаться в рамках той же одномерной векторной проекции.



Андрей Костин
(р. 1978) – историк литературы, ассоциированный исследователь лаборатории ILCEA4 Университета Гренобль-Альпы.

¹ На чем поднимается, растет, взмывает, вздымается (нем).

² MARX K. *Zur Kritik der Politischen Ökonomie*. Berlin: Franz Duncker, 1859. S. V. Здесь и далее перевод, если не оговорено иное, мой. – А. К.



Интересно заметить, что вполне материальная и даже индустриальная реальность мира конца 1850-х, в котором Маркс формулировал свою теорию базиса и надстройки, располагала явлениями, для описания которых вектор пришлось бы откладывать в обратном направлении. Отведенные слугам верхние этажи роскошных зданий на проложенных бароном Османом парижских бульварах, где магазины, рестораны и лучшие апартаменты располагались внизу. Концентрация рабочего и бедного населения в сравнительно труднодоступных, плохо интегрированных в транспортную, санитарную и энергетическую инфраструктуру возвышенных городских районах (от парижского Монмартра в десятилетия вокруг Парижской коммуны до фавел Рио). Развитие архитектуры мостов – каркасных и подвесных, – в которых надежность основного полотна все более начинала зависеть не столько от *опор*, сколько от *несущих конструкций*, располагавшихся *над* поверхностью, по которой передвигались транспорт и люди. Специфичная североамериканская языковая разметка растущих индустриальных городов на «верхнюю» и «нижнюю» части (*up/downtown*), где центр коммерческой и административной жизни сосредотачивался «внизу». В эту игру можно играть бесконечно.

Ассоциация «угнетенных», «субалтернов» (оба понятия пропитаны до краев все той же метафорикой гравитационно детерминированных верха и низа) с определенным набором позиций на векторе земного притяжения совершенно условна, как и с любой другой позицией в любом другом *n*-мерном пространстве. Возьмем, например, так важную для ядерного века, русского формализма или социолингвистических моделей Пале-Рояля (французского двора Людовика XIV) метафору центра/ядра и периферии. Конечно, индустриальный город склонен обрести кольцо фабрик, транспортных узлов и рабочих жилых кварталов – но за ними может расположиться другое кольцо, вполне буржуазных или аристократических дач и усадеб. Что из них более «маргинально»? «Деревня» может быть увидена не только как локус аграрного производства, но и (как это было тысячами и остается до сих пор) как пространство, куда удаляется городской/дворцовый житель, чтобы переизобрести себя и свой созданный городом/двором мир. Империя не знает границ и проявляется на колониальном фронтире, возможно, более явно, чем в метрополии. Писать «историю снизу» – значит накладывать на любое пространство и время единую гомогенную систему координат, единую масштабную линейку, предполагать за ними единую геометрию и физику. Все это вполне продуктивно, и у такой истории есть свои достоинства. Стоит, однако, помнить, что подобный детерминизм ограничен, что существует разнообразие позиций,

проекций и способов представления пространства и времени. «История отовсюду и куда угодно» может оказаться не менее продуктивной и полезной, чем «история снизу».

АНДРЕЙ КОСТИН

ОТОВСЮДУ И КУДА УГОДНО:
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ...

* * *

Например, для истории грамотности, которая – на горизонте нескольких последних столетий – может быть увидена в глобальном масштабе как «история всего», проекция всех, или во всяком случае основных, социальных процессов на поддающийся относительно простой и надежной формализации и квантификации параметр, изменения которого возможно проследить на обширных пространственных и временных сериях. Дьявол, естественно, кроется в деталях. Историки грамотности, работающие с полевым материалом, хорошо знают, что относительность простоты и надежности их метрик – фильтр, скрывающий данные, не соответствующие и прямо опровергающие основные тенденции; «малые» и «незначительные» статистические колебания, вырисовывающие жизнь, очень существенно отличающуюся от той, что видна через красивые ровные графики, отрисованные на массовых данных. В хороших работах по истории грамотности методические разделы, описывающие эти несоответствия и частности, настолько разрастаются, что становятся едва ли не их основным содержанием³.

Иными словами, ответ на вопрос о «грамотности» популярный прошлого напрямую зависит от идеологически не нейтрального решения в интерпретации самого понятия «грамотности», его объема – от выбора точки отсчета, системы измерения, масштаба.

Грамотность в Российской империи XVIII века – в период, около которого здесь начала складываться централизованная система учебных заведений, – с этой точки зрения достаточно показательна. Мы знаем об этом предмете достаточно, чтобы осознавать, что простой истории о нем написано не будет. Речь идет о культуре, где грамотность (умение читать и писать) наделялась иной ценностью и понятийно размечалась в иных, чем у нынешних горожан/академиков, координатах. Эта разметка предполагала многомерное разнообразие навыков и состояний там, где мы склонны видеть одномерный градиент между «полной неграмотностью» (невозможностью узнать содержание зафиксированного письменностью текста), и тем, что современная школьная методика называет «полной функ-

3 Особенно показательно см. в: FURET J., OZOUF J. *Lire et écrire: l'alphabétisation des français de Calvin à Jules Ferry*. Paris: Minuit, 1977; Tóth I.G. *Literacy and Written Culture in Early Modern Central Europe*. Budapest, 2000.



циональной грамотностью» (умение понять, письменно создать сложный и объемный аргументированный текст, оперирующий и конкретными, и абстрактными понятиями). В этом разнообразии грамотностей были важны и формы коллективного чтения и пересказа, и делегирования чтения и письма, механизмы которых мы все еще плохо понимаем.

Достаточно принять в качестве рабочего инструмента готовую систему координат, зафиксировать «грамотность» в определенной точке – и все эти знания о многомерности и разнообразии взаимодействия людей с их и чужими письменностями как бы отходят на задний план, размываются, а на передний выступает тот самый одномерный градиент, стремящийся к варианту поляризованной бинарной оппозиции: «грамотные/безграмотные». Так тончайший знаток своего предмета в наиболее актуальном проблемном обзоре истории грамотности и чтения в России долгого XVIII века резюмирует ее, по сути, одним емким эпитетом: «свидетельства – и старые, и новые – склоняются с огромным перевесом в сторону “пессимистичного взгляда”». Трюк – именно в установлении точки отсчета и системы координат. Взгляд «пессимистичен», потому что «общий уровень грамотности (как бы его ни определять) в Московии и Российской империи был поразительно низким»⁴. Достаточно определить «грамотность» – и вопрос о ней располагается на шкале, где возможны «оптимизм» и «пессимизм», причем положительными качествами наделяется именно обладание грамотностью.

Вместе с тем возможно, как кажется, подойти к вопросу с позиций, которые исключали бы эту строгую, клонящуюся в том числе к эмоциональной вовлеченности, детерминированность. Прежде всего – признать себе, что в истории российской грамотности предпозапрошлого столетия мы сталкиваемся с аномалиями, «серыми зонами», трудно объяснимыми, если исходить из стандартов нашего современного взгляда. Можно, например, вполне уверенно говорить, что во многих сообществах не только не существовало прямой связи между социальным статусом ее члена и его грамотностью, но что эта связь была обратной. То есть не просто выборные должности могли заниматься людьми, предположительно не умеющими ни читать, ни писать, но более того – эти люди с наибольшей вероятностью могли избираться к исполнению наиболее ответственных, требующих максимального коллективного доверия функций, между тем как «грамотным» отводились технические, вспомогательные позиции. Или – во многих семьях умеющим писать фиксируется только один человек, причем скорее кто-

⁴ MARKER G. *The Eighteenth Century: From Reading Communities to the Reading Public // Reading Russia: A History of Reading in Modern Russia*. Milano: Ledizioni, 2020. P. 88–89.

то из младших, чем старших, братьев⁵. Или – одну из ключевых позиций в управлении наращивающим бюрократическую машину государством занимает человек, о котором полагают, что он не умеет ни читать, ни писать (вариант – минимально способен к этому)⁶. Или – в обширном однородном комплексе источников обнаруживается, что самые длинные и синтаксически сложно устроенные подписи оставляют женщины из самых непривилегированных групп (дочери крепостных), между тем как самые короткие, ограничивающиеся именем и фамилией, – женщины из самых влиятельных семей (титулованная знать; жены, дочери и вдовы мужчин с чинами не ниже полковничьего или гвардейских офицеров), о которых надежно известно, что они вполне функционально грамотны⁷. И так далее.

АНДРЕЙ КОСТИН

ОТОВСКОДУ И КУДА УГОДНО:
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ...

Достаточно принять в качестве рабочего инструмента готовую систему координат – и все знания о многомерности и разнообразии взаимодействия людей с их и чужими письменностями как бы отходят на задний план, а на передний выступает одномерный градиент, стремящийся к варианту поляризованной бинарной оппозиции: «грамотные/безграмотные».

На мой взгляд, использовать для всего этого разнообразия раздражающей нас «серой зоны» зонтичные термины вроде «полуграмотность», «минимальная грамотность» или даже «полунеграмотность» – значит пытаться замаскировать пропасть

- 5 Критическую проблематизацию вопроса о крестьянской грамотности в России раннего Нового времени см.: Голубинский А.А. *Грамотность крестьянства Европейской России по материалам полевых записок генерального межевания*. Дисс. [...] к.и.н. М., 2011; Парфеня М.И. *Об уровне и роли грамотности в мирском самоуправлении иркутского и верхотурского уездов в последней четверти XVII века* // *Quaestio Rossica*. 2025. Т. 13. № 2. С. 612–632.
- 6 См. спор о грамотности Александра Меншикова – ведущийся, несмотря на данные, достаточные для того, чтобы признать его умеющим читать и писать: Беспятых Ю.Н. *Александр Данилович Меншиков: мифы и реальность*. СПб., 2005. С. 14–46; Павленко Н. *Был ли А.Д. Меншиков грамотным?* // *Наука и жизнь*. 2006. № 3. С. 69–75; Беспятых Ю.Н. *О терминах «дворяне» и «шляхта» в России при Петре I (К полемике по поводу грамотности и происхождения А.Д. Меншикова)* // *Петербургский исторический журнал*. 2015. № 2. С. 263–284; Marker G. *The Eighteenth Century*... Р. 93, 96. Подробнее о контексте, в котором в источниках появляются всегда не нейтральные свидетельства о неграмотности Меншикова, см.: Filipova H. *«On the Portrait of His Human-Turd Serene Highness»: Villainous Myth of Alexander Menshikov and the Early Modern Tradition of Othering* // *Karolinska förbundets årsbok*. 2026 (forthcoming).
- 7 Упомянутый комплекс женских подписей – рукоприкладства в брачных обысках и документах Москвы 1770-х – начала 1800-х см. в: Центральный государственный архив Москвы. Ф. 2121–2126. Оп. 3. Ср.: «ксему обыску фступающая / възаконное супружество отпущенная вечно наволю / сотпускною отгоспожи вдовы аграфены федоровны / савеловой крепостная ее дворовая девка аграфена / васильева дочь ерохина что всилу обыска кбраку / сочетанию препятствующих причинь неимею фтомъ / употписуюсь» (Ф. 2123. Оп. 3. № 1. Л. 17); «елизавета папова» (Ф. 2121. Оп. 3. № 184. Л. 59; записано вдовой полковника; вариант ее же развернутого рукоприкладства – Там же. Л. 51).



собственного незнания или грубость нашего исследовательского аппарата. Аналитический язык – продукт исследования и определяет исследование зачастую вне интенций автора. Так, «полуграмотность» (*semiliteracy*) – в целом вполне валидный механизм, не раз позволявший относительно нюансированно анализировать эмпирические данные, введшийся именно в целях этой нюансировки как подчеркнуто технический, нейтральный термин⁸. Проблема, однако, в том, что самой своей конструкцией он делает именно «грамотность» положительным вариантом нормы со всеми последующими эффектами (см. выше). Можно между тем говорить о разнообразии письменных культур (*graphodiversity*, по аналогии с *biodiversity*) прошлого без опоры на эту норму. Таким был, например, взгляд Стивена Джастиса на английское восстание 1381 года как на форму взаимодействия крестьян с письмом – в книге, обходящейся вовсе без «полуграмотности»⁹. Или – не менее показательно – в работе Фюре и Озуфа о грамотности и школе во Франции XVI–XIX веков, где «полуобучение грамоте» (*demi-alphabétisation, demi-instruction*) поминается только для описания обучающих институтов, но не учеников, или же термин «полунеграмотные» (*semi-illettrés*) вводится только для оценки статистики, в противном случае игнорировавшей бы принципиальную разницу между (а) не умеющими читать и писать вовсе и (б) все же обучившимися чтению¹⁰. Опыт английского перевода этой книги, где для передачи намеренно инклюзивного разнообразия терминов¹¹ использована гомогенизирующая «полуграмотность»¹², показывает, что тонкая нюансировка сбивается при автоматизированном чтении и мешает критической работе.

Именно из-за несоответствия «грамотностей» прошлого нашим критериям нет смысла надеяться, что когда-либо мы сможем получить квантифицированные данные о «грамотности» в России раннего Нового времени, которые выстроились бы в стройные однородные статистические серии на долгих временных отрезках и с репрезентативным региональным разнообразием. Внимание к конкретным кейсам, индивидуальным и коллективным (если это различие здесь вообще имеет смысл), не только честнее, но и продуктивнее. Доступ к тексту

8 CLANCHY M.T. *From Memory to Written Record: England, 1066–1307*. Cambridge, 1979; STOCK B. *The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries*. Princeton, 1983; MARKER G. *Literacy and Literacy Texts in Muscovy: A Reconsideration* // *Slavic Review*. Vol. 49. № 1. P. 74–89; ГОЛУБИНСКИЙ А.А. Указ. соч.

9 JUSTICE S. *Writing and Rebellion: England in 1381*. Berkeley; Los Angeles; London, 1994.

10 FURET J., OZOUF J. *Lire et écrire...*

11 Методические замечания о проблеме нейтрального языка применительно к истории грамотности см. в: Ibid. P. 24–25.

12 IDEM. *Reading and Writing: Literacy in France from Calvin to Jules Ferry*. New York: Cambridge University Press, 1982.

и письму в России XVIII века был шире и разнообразнее, чем любая общая оценка «грамотности», стремящаяся к единому коэффициенту или к кривой графика, которую дадут нам не только гипотетические экстраполяции позднейших данных¹³, но и самый тщательный обсчет отдельных – сколь угодно обширных – комплексов рукоприкладств или авторизованных записей в книгах. Без признания этого обстоятельства нам грозит – в духе политического языка второй половины XVIII века – воспринимать «безгласными» крепостных крестьян и вообще крестьян, детей, стариков, женщин, ограниченно дееспособных, иноверцев и иностранцев, башкирских сотников и хантыйских или эвенкийских князей и князцов.

АНДРЕЙ КОСТИН

ОТОВСКОДУ И КУДА УГОДНО:
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ...

* * *

Что в России долгого XVIII века значило быть «полностью функционально грамотными»? Сочинять стихи? Торжественные речи? Составлять тексты, определяющие настоящее и будущее империи или решающие проблемы и обеспечивающие жизнь и выживание (лучшую жизнь и лучшее выживание) – собственное, своей семьи, своей общины? Можно ли в целом отграничить «чисто утилитарное письмо» от «полностью функционального»? Как многое останется между ними после того, как мы проведем эти границы?

Один из подходов к ответам на эти вопросы мне видится в том, чтобы не только увидеть чрезвычайную размытость границ и взаимную зависимость между «поэзией» и юридическим, административным, деловым письмом¹⁴, но и максимально расширить репертуар письменных обиходов, тексты которых не наделялись бы характеристиками «безграмотных».

По меньшей мере до 1750–1760-х из всех русских изданий гражданской печати именно законы были тем типом текстов, обращение с которыми создавало в империи русское «воображаемое сообщество». Дело не только в том, что именно им с 1714 года была обеспечена наиболее широкая сеть распространения. В конце концов, сама по себе рассылка печатных указов по присутственным местам всей страны (многим – во всяком случае в первой половине XVIII века – все равно приходилось довольствоваться рукописными списками)¹⁵ вовсе не

13 См. не теряющую актуальности работу: МИРОНОВ Б. Н. *Развитие грамотности в России и СССР за 1000 лет: X–XX вв.* // *Studia Humanistica* 1996. Исследования по истории и филологии. СПб., 1996. С. 24–46.

14 Костин А. А. *Вымыслы поэтические и преступные: литература среди других институций письма* // *Институты литературы в Российской империи*. М.: Высшая школа экономики, 2023. С. 74–97.

15 О фронтальном отношении печатного и письменного бюрократического текста в России раннего Нового и Нового времени, в том числе об официальных рукописных списках печатных указов см.: FRANKLIN S. *The Russian Graphosphere, 1450–1850*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. P. 148–149, 178–179, 230–234.



гарантировала, что их будут читать, перечитывать, помнить и использовать все или почти все. Более показательным мне видится следующее обстоятельство. Данные крестьянских челобитных 1740–1760-х показывают¹⁶, что в центре их законодательной аргументации оказывались или относительно недавние (2–4 года) указы, или указы позднего Петровского времени, 1713–1725 годов. Это явление пытались объяснить тем, что крестьяне списывали в канцеляриях нужные им указы или покупали отдельные листовые издания (что случалось и было обычным не только для крестьян). Полагаю, однако, что нет оснований искать для крестьян и грамотных крепостных путей знакомства с текстами законов, существенно отличных от других социальных групп. Петровские «указная книга» (1739) и «уложение с регламентом» (1737)¹⁷, впоследствии многократно переиздававшиеся и остававшиеся основными печатными сводами российского законодательства вплоть до начала XIX века, были центральными (далеко впереди всех остальных) «хитами» академической типографии в 1740-е и главным результатом коллективных трудов Российского собрания¹⁸. Книгами, кото-

16 Раскин Д.И. *Использование законодательных актов в крестьянских челобитных середины XVIII в. (материалы к изучению общественного сознания русского крестьянства)* // История СССР. 1979. № 4. С. 179–192; ср.: Алефиренко П.К. *Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30–50-х годах XVIII в.* М., 1958. С. 296–297; Иванов П.В. *Социально-политические представления помещичьих крестьян в России 40–60-х гг. XVIII в.* // Ученые записки Курского государственного педагогического института. 1967. Вып. 37. Ч. 1. С. 3–62; Он же. *Социально-политические представления монастырских крестьян в России 40–60-х гг. XVIII в.* // Там же. 1967. Вып. 43. Ч. 1. С. 3–57; Покровский Н.Н. *Жалоба уральских заводских крестьян 1790 г.* // Сибирская археография и источниковедение. Новосибирск, 1979. С. 155–182.

17 «Уложение по которому суд и росправа во всяких делах в Российском государстве производится, сочиненное и напечатанное при владении его величества государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея России самодержца в лето от сотворения мира 7156», включавшее в том числе и Генеральный регламент (первое академическое издание – 1737; академические переиздания – 1748, 1759, 1776, 1778(?), 1780, 1788, 1790, 1792, 1796, а также сенатские – 1779, 1804, 1820). «Указы блаженные и вечнодостоинные памяти государя императора Петра Великого самодержца всероссийского, состоявшиеся с 1714, по кончину его императорского величества, генваря по 28 число, 1725 году. Напечатаны по указу всепресветлейшей державнейшей великой государыни императрицы Анны Иоанновны самодержицы всероссийской» (первое издание – 1739; впоследствии – 1751(?), 1777, 1780, после 1793, 1799); собраны с использованием печатавшихся ранее, в 1737–1738 годах, погодных «копий указов». В 1743 году были изданы также (на основе свода, изданного после смерти Екатерины I) «Указы блаженные и вечнодостоинные памяти великой государыни императрицы Екатерины Алексиевны и государя императора Петра Второго, состоявшиеся с 1725 генваря с 28 числа по 1730 год. Напечатаны по указу всепресветлейшей державнейшей великой государыни императрицы Елисаветы Петровны самодержицы всероссийской» (первое издание – 1743; впоследствии – 1753(?), 1777, 1780, после 1793).

18 В Петербурге рубежа 1730–1740-х никакие другие издания Академии наук по читательскому спросу нельзя было сопоставить с выходившими здесь сборниками законов. Вербальное мастерство гражданского закона (и его непосредственная связь с жизнью читателей) занимало центр в структуре чтения изданий гражданской печати. Стихотворство жалось на периферии, в конце «длинного хвоста» (Костин А.А. *Открытость поля поэзии, или Поэзия как товар* // *Институты литературы в Российской империи*. М.: Высшая школа экономики, 2023. С. 63–72). Основным занятием Российского собрания – официального органа, отвечавшего в конце 1730-х за экспертизу в области чистоты русского языка, – была подготовка к печати базового законодательного кодекса, Соборного уложения 1649 года. После 1742 года, когда один из членов триумvirата, возглавлявшего Российское собрание (Василий Адодуров), станет руководить Герольдмейстерской канторой, а другой (Федор Эмме) возглавит Юстиц-коллегию лифляндских и эстляндских дел,

рые с равным интересом, вниманием и пользой не только *использовали*, но и собственно *читали*, создавая на их основе собственные конструкции политической и правовой реальности и новые отстаивающие их тексты, представители всех социальных групп, имеющих доступ к русскому письму.

Последнее обстоятельство нужно подчеркнуть особо. Крестьяне (текстуальные сообщества крестьян, организованные делегированной грамотностью)¹⁹ указы именно читали – что предполагало нетривиальные интерпретативные и герменевтические процедуры, конструирование картины мира и создание собственных, отстаивающих групповые и индивидуальные права текстов, а также ответного официального законодательства, исключающего выявляемые низовыми движениями многозначности интерпретации²⁰.

В качестве аргументов крестьянские челобитные использовали не только «утилитарные», предписывающие норму, резолютивные разделы указов, но также их преамбулы, предлагающие контекстуализацию конкретных норм через генерализованный дискурс общественной пользы, солидарности и защиты²¹. Подобная работа с преамбулами могла при этом принимать, например, такие формы, когда полномочия по защите угнетенных, делегировавшиеся в исходном указе сенаторам как «сынам отечества», присваивались челобитчиком себе и *любому* подданному императрицы²².

Искусное и неожиданное прочтение указа грамотным интерпретатором – как в целом, так и его фрагмента, обособленного от контекста, – привлекало публику и могло становиться

АНДРЕЙ КОСТИН

ОТОВСКОДУ И КУДА УГОДНО:
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ...

это сообщество распадется. Комментарии Василия Татищева к «Судебнику Иоанна Васильевича», работа над которыми начиналась в связи с трудами Собрания 1730-х, будут напечатаны лишь в 1768 году. Другие комментарии Татищева к законам останутся лишь в рукописи. О важных здесь обстоятельствах истории Российского собрания см.: Костин А.А., Костина Т.В. «Русский автор» в 1739 году: Г.З. Байер, И.И. Тауберт и формирование русского школьного канона // *Слов'яне = Slovène*. 2019. № 2. С. 184–192.

19 Сток В. *Op. cit.* P. 88–92; JUSTICE S. *Op. cit.* P. 33–35.

20 КАФЕНГАУЗ Б.Б. *История хозяйства Демидовых в XVIII–XIX вв.: опыт исследования по истории уральской металлургии*. М.; Л., 1949. Т. 1. С. 374–386; Алефиренко П.К. *Указ. соч.* С. 296–297; Бернадский В.Н. *Очерки из истории классовой борьбы и общественно-политической мысли России в третьей четверти XVIII века // Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена*. Л., 1962. Т. 229. С. 41, 53–60; Иванов П.В. *Социально-политические представления помещичьих крестьян...; Он же. Социально-политические представления монастырских крестьян...; Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века*. М., 1972. С. 351–352; Покровский Н.Н. *Указ. соч.*; Раскин Д.И. *Использование законодательных актов...; Крестьянство Сибири в эпоху феодализма*. Новосибирск, 1982. С. 453–454; Пихоя Р.Г. *Общественно-политическая мысль трудящихся Урала (конец XVII–XVIII вв.)*. Свердловск, 1987. С. 32–33, 36–37, 39–52, 64–69, 74–78, 96–98, 100–108, 124–173, 221–224; Громыко М.М. *Мир русской деревни*. М., 1991. С. 240–243; Львов А.Л. «Первое учение отроком» Феофана Прокоповича и генезис русского сектантства // *Русская литература*. 2008. № 1. С. 159–170; Он же. *Русские иудействующие как текстуальное сообщество: о границах применимости этноконфессиональных категорий // Этнографическое обозрение*. 2009. № 6. С. 73–86.

21 Иванов П.В. *Социально-политические представления помещичьих крестьян... С. 26–27, 38–40, 57–60; Он же. Социально-политические представления монастырских крестьян... С. 38–39, 48–51; ср. также работы Александра Преображенского и Давида Раскина из предыдущей сноски.*

22 Он же. *Социально-политические представления помещичьих крестьян... С. 38–39.*



источником протестного движения. Человек, сообщавший, что нашел способ толковать указы о размежевании так, «якобы все монастырские вотчины отписаны на Ея императорское величество» (то есть крестьяне из крепостных монастырских сделаны государственными), был способен, как крестьянин Троице-Сергиевой лавры Давид Кононов в 1758 году, собрать на ярмарке аудиторию в полторы тысячи человек²³, что соответствует большому городскому театру.

Искусное и неожиданное прочтение указа грамотным интерпретатором – как в целом, так и его фрагмента, обособленного от контекста, – привлекало публику и могло становиться источником протестного движения.

Работа и перформанс подобного толкователя указа гомологичны тому, что предлагал своим последователям учитель новой «хорошей веры» – ср., например, сведения о действовавшем в Люберцах и Москве Павле Петрове, наставления которого в конце 1760-х оказались импульсом для возникновения скопческой веры. Отодворец Степан Сопов – единственный из всех ее последователей, допрошенных в рамках следствия о них в Орловском духовном правлении в 1772 году, кому было разрешено совершить паломничество к этому Христу, – так описывал начало встречи:

«ево Петрова в тот [...] дом привезли, где, кланяясь ему, целовали ево Петрова руку, где он Петров протолковал им всем: когда де в церкви поют *тело Христово примите*, это де надобно петь *дело Христово примите, а не тело, источника бессмертного в сердцах закусить* [а не “бессмертного вкусите”. – А.К.], и многия штуки толковал»²⁴.

Искусное чтение указа, как и священного текста, предполагало подобные же «штуки» (термин, равным образом употребляемый для описания искусства акробата, фокусника или ювелира). Не стоит полагать при этом, что такое фрагментирующее чтение «наивно» или имеет «народный» характер. Рассматривая эти практики, стоит обратить внимание не только на то, что в зависимости от ситуации и задач крестьяне могли переходить мнимую (выражающуюся в терминологическом различии

23 Алефиренко П.К. Указ. соч. С. 207–208; Иванов П.В. Социально-политические представления монастырских крестьян... С. 42. Чтение Кононова было основано на пунктах 3, 5 и 6 главы 9 Инструкции о межевании 1754 года и на указе об управлении монастырскими именными 6 октября 1757 года (Полное собрание законов Российской империи. № 10237, 10765).

24 Высоцкий Н.Г. Первый скопческий процесс. Материалы, относящиеся к начальной истории скопческой секты. М., 1915. С. 58.

нии «полуграмотных» и «образованных») черту между чтением «выхваченных из контекста слов и выражений» и чтением, сверяющимся «с достаточно крупными фрагментами и даже с главными темами услышанного/прочитанного текста»²⁵, но и на то, что «фрагментирующее», «выхватывающее из контекста» чтение и связанные с ним параноидальные интерпретативные режимы (*cavillatio*, *subtilitas*, *sophisticatio*, *fictio legis* – способы обращения с законом, одновременно, со времен по меньшей мере римского права, подвергающиеся гонению и запрету и определяющие мастерство юриста-эксперта)²⁶ на протяжении всего XVIII века, обнаруживаются в самом центре русской элитарной культуры – будь то практика обращения с мелкими цитатами от Стефана Яворского и Феофана Прокоповича до Карамзина, или монструозные переводы Сумарокова, или режим интерпретативного сомнения, установленный сатирическими журналами 1769 года, или изощренные интерпретации администрациями Академии наук и Московского университета их уставов для введения образовательных форм, не предусмотренных или прямо противоречащих полному тексту указа, или использование законодателями и судами «филологических ошибок» для закрепощения крестьян и ограничения им возможностей защиты прав на основе указов, не предполагавших расширяющего правоприменения²⁷. Различие «верного» и «наивного» толкования схоже с разницей – по Макс Вайнрайху – между языком и диалектом: на стороне одного из них оказываются армия, флот (и суд), и любые другие их отличия мнимы.

АНДРЕЙ КОСТИН

ОТОВСКОДУ И КУДА УГОДНО:
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ...

* * *

Правление императрицы Елизаветы вместе с новыми моделями публичности, построенными на «литературных» моделях,

25 Львов А.Л. «Первое учение отроком»... С. 169; ср.: CHARTIER R. *Culture as Appropriation: Popular Cultural Uses in Early Modern France* // *Understanding Popular Culture: Europe from the Middle Ages to the Nineteenth Century*. Berlin; New York; Amsterdam, 1984. P. 234.

26 MACLEAN I. *Interpretation and Meaning in the Renaissance: The Case of Law*. Cambridge, 1992. P. 135–158.

27 Живов В.М. *Из церковной истории времен Петра Великого: исследования и материалы*. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 77–114; Ларионов О.А. А.М. Кутузов в 1790 году: чтение, авторство, публичность // *Slavica Revalensia*. 2023. № 10. С. 71–83; Костин А. Монструозные варианты Сумарокова: замечания к истории чтения, образования и перевода в России XVIII века // *Language and Education in Petrine Russia: Essays in Honour of Maria Cristina Bragone*. Firenze, 2024. P. 307–342; Он же. Крестик, черточка, точка: учебные пособия Академии наук 1730-х годов и их прусские контексты // *Русско-немецкие контакты в детской литературе XVIII–XX вв.* СПб.: Росток, 2020. С. 56–58; Костина Т.В. Преподавание в российских университетах XVIII в.: не «только на латинском и русском» // *Cahiers du Monde russe*. 2022. Vol. 63. № 2. P. 527–542; Ключевский В. *Курс русской истории*. Ч. 5. М., 1937. С. 133–137; БЕРНАДСКИЙ В.Н. Указ. соч. С. 33–34; ИВАНОВ П.В. *Социально-политические представления помещичьих крестьян*... С. 32–37; Он же. *Социально-политические представления монастырских крестьян*... С. 34–36; КАМКИН А.В. *Правосознание государственных крестьян второй половины XVIII в. (на материалах Европейского Севера)* // *История СССР*. 1987. № 2.



создающихся публичными «профессиональными» литераторами²⁸, создавало условия для того, чтобы сделать мастерство судебного или канцелярского языков невидимым. Между тем еще в 1760-е именно юридический язык мог мыслиться основой, из которой должен собираться язык национальный, главным образцом²⁹. В «Наказе» 1767 года (статья 158) Екатерина II настаивает на том, что в России законодательные книги должны занять в практике обучения (и в целом, и мастерству языка в частности) место рядом с церковными книгами и букварем. С законодательным текстом связано неожиданное для «Наказа» упоминание эстетического читательского опыта императрицы: «Слог Уложения блаженной памяти Царя Алексея Михайловича по большей части ясен, прост и краток; с удовольствием слушаешь, где бывают из оного выписи» (статья 457; курсив мой. – А. К.)³⁰. Екатерину русскому языку учил готовивший прежде «Уложение» к изданию Василий Адодуров – не имеем ли мы здесь свидетельство в том числе о том, как было устроено обучение? Судя хотя бы по тому, что даже

28 Осповат К. *Придворная словесность. Институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века*. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

29 Полагаю, что для оценки изменений в отношении к печатному слову и словесной экспертизе в России середины XVIII века, основные векторы которых были связаны с маргинализацией церковного печатного узуса, с ограничением доступа к легальной защите прав для «непросвещенных» групп населения и с инструментальным, «гувернаментальным» использованием «литературы» «просвещенными» элитами (процессы, отразившиеся в том числе в прекращении традиции церковной азбуки-восьмилистки к концу 1760-х, в переходе в качестве стандарта от церковных к гражданским букварям и во введении в элементарные учебные пособия фрагментов из новых «авторов»), следует всерьез отнестись к свидетельствуемому у самых разных социальных групп этого времени отношению к печатному закону как к буквально сакральной сущности. Дело не только в метафорическом политическом аппарате элит или в фундированных аргументах крепостных челобитных (Покровский Н. Н. *Указ. соч.* С. 160), но и во вполне материальном отношении к церковным практикам, стирающем различие между религиозными священными текстами и законодательством, проявившемся в серии наказов депутатам 1767 года. «Просим при всех церквях быть ученым священником для проповеди и утверждения во исповедание веры закона Божия, а во отвращение злых дел, також и в знании законов ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, от чего будет в том всенародная полза [...] а дьячкам и понамарям обучать крестьянских мужеска полу детей от семи лет грамоте и писать на содержании отцов их, от чего впредь, упователно, подлой народ просвещенной разум иметь будет»; «Вкоренить в сердца наши страх, чтоб помнили Бога и закон ево, а зависить оное не от иного чего, ежели бы мы имели священников достойных [...] просим, ис какова б звания священники ни были, указать посещать знающих ученых людей, от коих бы народ, видя их достоинство и хорошее поучение, почювствовать о своей жизни могли, и чрез то б доказали установленной закон ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА» (*Культура и быт дворянства в провинциальной России XVIII века* / Науч. ред. О. Глаголева, И. Ширлє. М., 2021. Т. 3 («Провинциальное дворянство второй половины XVIII века по материалам Уложенной комиссии 1767–1774 годов: документы и материалы»). С. 327, 203).

30 Ср. исходную черновую запись, добавленную к первоначальному конспекту «Наказа»: «le stile de l'уложение la plupart du tems est clair, net, concis, [j] on l'ecoute toujours avec plaisir [qu] quand [j'en] on en entend citer ses passage persone n'est trompé au sens de ce qu'il entend [et elle es] [simple pl] [comprend aisement] [la plus] les termes en sont a la porté du plus simple» (*Наказ Комиссии о сочинении проекта нового уложения Екатерины II. Первоначальный конспект наказа. Источники. Переводы. Тексты* / Изд. подг. Н. Ю. Плавинской. М., 2018. С. 125). О «ясности» языка законов в представлении Екатерины II и о ее представлениях о том, как законодательные тексты должны встраиваться в процесс обучения, см.: Бабкова Г. О. *Понятия «криминальный» и «уголовный» в проектах по обновлению уголовного права и процесса Екатерины II // Гиштории российские, или Опыты и разыскания к юбилею Александра Борисовича Каменского*. М., 2014. С. 161–206.

в 1780-е в комплексе учебных пособий Янковича де Мириево актуальная русскоязычная литература не играла заметной роли (в отличие от находящегося на стыке паремии и законодательства свода «О должностях человека и гражданина»), процесс съедания канцелярского/судебного мастерства «литературным» был долгим.

В 1747–1748 годы Академия наук заказала Тредиаковскому перевод «Аргениды» Баркляя, издала «Телемака» Фенелона в переводе казенного вместе с Вольнским Андрея Хрущова, «Две эпистолы» и трагедии Сумарокова, «Басни Эзоповы» в переводе Сергея Волчкова и ломоносовскую «Риторику», теоретически обосновывавшую допустимость и значимость всех этих поэтических вымыслов. Русская словесность начала приобретать черты привычной нам «литературы». К началу 1760-х сочинения Ломоносова и Сумарокова заняли место среди самых ценных изданий Академии наук (мало на какие другие академические книги устанавливались сопоставимые наценки относительно себестоимости издания)³¹. Это не значило, однако, что в диспозиции образцовых языков канцелярия уступила место кабинету поэта. Как было сказано, в «Наказе» (статья 158) Екатерина II проявляла заботу не о все еще маргинальной «литературе», а о доступности – за счет низкой отпускной цены – букварей и сборников законов (того типа изданий, которые находились в центре читательского интереса в 1740-е). То же требование было повторено в наказе в Уложенную Комиссию от «Главной полиции»³². Замечу, что Екатерина II (здесь – ученица Монтескьё) предлагает в обоснование такой модели вербального мастерства вполне республиканскую озабоченность:

«Когда гражданин не может сам собою узнать следствий, сопряженных с собственными своими делами и касающихся до его особы и вольности, то будет он зависеть от некоторого числа людей, взявших к себе в хранение законы и толкующих оные. Преступления не столь часты будут, чем большее число людей уложение читать и разуметь станут» (статья 158).

Взаимодействие «народа» («публики») с публичным словом пошло, однако, по другим путям. Следствием развития «литературы» (образования в вербальном мастерстве, все менее заин-

АНДРЕЙ КОСТИН

ОТОВСКОДУ И КУДА УГОДНО:
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ...

31 Костин А.А. *Открытость поля поэзии...* С. 70–72.

32 «373. Церковных и учебных книг, також и законов военных и гражданских дорогою ценою продавать запретить, и единственно такую ценою, чтоб только типография в напечатании убытку иметь не могла, дабы каждый за дешевую цену мог те необходимо нужные книги иметь.

374. Гражданских и военных законов по книгам учить при словесных науках, обще с законами о вере, дабы с младенчества каждому умеющему грамоте все права известны были» (*Наказы депутатам от присутственных мест в Комиссию о сочинении проекта Нового уложения // Сборник Российского исторического общества*. 1885. Т. 43. С. 357; наказ подписан Н. Чичериным, И. Молчановым, С. Щербаковым, М. Шварцем и Ф. Студенским).



тересованного в юридическом и канцелярском языке) оказалось отделение большинства читающих и пишущих и от «взявших к себе в хранение законы», и от профессиональных литераторов. Вторая половина XVIII века видела лишь начало этого процесса.

Эксперты рубежа XVII–XVIII веков, имевшие дело прежде всего с оформлением текущей, изменяющейся, всегда индивидуальной реальности в слова, вариативные и ситуативные при всей своей формульности – мастер «площадного письма» (*écrivain publique*, «ябедник», «сутяга»), боярский «человек, который за делами ходит», монастырский стряпчий, работник³³ канцелярии (приказа, избы; частной, общественной или казенной) – профессионалы не только регистрирующего «письма», но и вербального, и перформативного «вымысла» – к концу XVIII века оказались вытеснены (по меньшей мере в тех мирах, где ощущалась аура государственного авторитета) профессионалами иного рода. Русская «литература» конца XVIII столетия монополизировала звание «писателя» за умеющими предоставить книжному рынку определенный товар: печатные книги гражданской печати, предлагающие в словах универсальные формулы нравственных истин, социально одобряемых аффектов и соответствующие им воображаемые миры.

Эта пересборка поля вербальной экспертизы – подносившаяся на эмансипаторной риторике всеобщего разума и равенства – оказалась на деле чрезвычайно элитаристской и эксклюзивной. Уже к концу XIX века представления о «народе» как феномене, сущностно отделенном от мира пишущих, стали воздухом, которым эти пишущие, мало об этом задумываясь, дышали³⁴. Век советских авангардных проектов 1920-х по созданию из массово обученных грамоте новых пролетариев «органической» интеллигенции – не столько «писателей», сколько пишущих в непосредственной связи со своей (производственной) реальностью³⁵ – оказался недолог. Они провалились, как кажется, не в последнюю очередь оттого, что и сами активисты этих проектов, и принимавшие рядом с ними административ-

33 Использую это привычное для современного языка слово, несмотря на то, что в русском языке конца XVII – начала XVIII века использование слова «работник» для разговора об интеллектуальном труде было по меньшей мере не нейтральным (Жуковская А. В. *Служить бы рад, работать тошно: к истории бюрократии Московского государства и ранней Российской империи (из «картотеки мотивов») // Памяти А. М. Пескова*. М.: РГГУ, 2013. С. 94–108).

34 Вдовин А. *Загадка народа-сфинкса Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права*. М.: Новое литературное обозрение, 2024.

35 Пособия по писательскому мастерству 1920-х в основном воспроизводили старые модели, предполагающие навязывание «белому листу» писателя-пролетария готовых форм «литературы», хотя левая критика требовала отказа от этой модели и обращения к «органическому» письму (Калинин И. *Между фабрикой и музеем: риторика для пролетариата // Новое литературное обозрение*. 2023. № 4. С. 23–45). Между тем существовали и методики, прямо направленные на выработку письменного мастерства из минимальной повседневной практики (см., например: ПАЛЕЙ И. Р. *От станка к книге. Вып. 1. Год лабораторной работы по родному языку (толковое чтение, наблюдение над языком, правописание и развитие речи) /* Ред. грамматич. части и предисл. А. М. Пешковского. М.: Мир, 1925).

ные решения не до конца верили в то, что различие «писателей» и «народа» сконструировано (в том числе историей классового угнетения и борьбы). Я полагаю, что любая работа по истории Российской империи возможна только при условии деконструкции этого различия и внимание к русскому письму XVIII столетия за границами «литературы» – инструмент, который может быть здесь использован наиболее эффективно.

АНДРЕЙ КОСТИН

ОТОВСЮДУ И КУДА УГОДНО:
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ...

* * *

В предложенных соображениях о том, как может писаться ранненоввременная и новременная история российской письменности, есть одна опасность. Они могут быть увидены как призыв к старому доброму «миру наизнанку», замене «истории сверху» «историей снизу». Как любой обоснованный исследовательский прием, этот ход не был бы нерезультативным, однако он оставил бы слишком многое в стороне.

Дело не в том, чтобы заменить внимание к «привилегированным группам» вниманием к «угнетенным». «История отовсюду» видит на месте этого поляризованного контраста детализированное полихромное разнообразие, где подобная оппозиция оказывается лишь одним из измерений и возможных инструментов. Социальное разнообразие популяций прошлого было слишком большим, чтобы довольствоваться в работе с ним простыми оппозициями.

Дело не в том, чтобы заменить внимание к «привилегированным группам» вниманием к «угнетенным». «История отовсюду» видит на месте этого поляризованного контраста детализированное полихромное разнообразие, где подобная оппозиция оказывается лишь одним из измерений и возможных инструментов.

Было бы неверно, например, не только не различать российских крестьян и крепостных долгого XVIII века по имущественным критериям (много-, мало- и безземельные крестьяне читали законы по-разному и формулировали в челобитных и наказах разные требования)³⁶, но и по семейной, и социальной истории, и по хозяйственным функциям³⁷. Идентичности смешивались, накладывались и разбегались. Люди, писавшие че-

36 Камкин А.В. *Правосознание государственных крестьян...* С. 163–173.

37 Боярченко В. *Социальные стратегии дворовых людей в зеркале судебных дел Екатерининской эпохи* // Cahiers d'histoire russe, est-européenne, caucasienne et centrasiatique. 2024. Vol. 65. № 3-4. P. 559–592.

лобитные от имени крестьянского общества и руководившие их движением по инстанциям, не обязательно должны были быть заняты в физическом аграрном или промышленном труде, даже если они входили в то же общество. Для многих общин по меньшей мере некоторых регионов (Заонежье, Нижний Новгород, Поморье) в XVII – начале XVIII века складывалась система, в которой ключевые позиции в выборном управлении волостью занимали представители семей священно- и церковнослужителей³⁸. В 1740-х в северных деревнях (конкретный пример – объединявшая 25 деревень Дмитриевская волость на реке Устье, притоке Ваги) крестьянское общество («соцкий со товарищи») могло нанимать из своей среды для «юстицких дел» («писать с указов копии и ответствовать против указов и поставшую ведомость и всякие юстицкие дела»; «ручити всякие юстицкие и мирские дела») профессионалов письма – «пищика» и «ручника» с такой сословной историей: «Павел Аверкиев Попов был сыном местного пономаря, записанный при очередной ревизии в государственные крестьяне [...] после заключения [...] порядного письма [на должность пищика] он исполнял эту должность 40 лет»³⁹. Схожее происхождение было у Леонтия Травина – потомственного крепостного работника большой частновладельческой канцелярии, благодаря своим письменным и административно-хозяйственным трудам сумевшего получить вольную, ставшего личным дворянином-чиновником в Опочке и записавшего сыновей в гвардейские полки. Несмотря на то, что в своей рассказывающей эту фантастическую историю автобиографии Травин последовательно отрицает участие в составлении крестьянских челобитных, окружавшие его люди столь же последовательно сомневались и обвиняли его в этом; не вполне понятно, насколько можно доверять той или другой стороне, но текст Травина определенно показывает солидарность с крестьянскими требованиями⁴⁰. Челобитные, находившиеся в центре крестьянских волнений на калужских заводах Николая Демидова в начале 1750-х, составлялись в том числе потомственным крепостным, управляющим имениями князей Ромодановских Иваном Петровым Блиновым, и 17-летним «писцом» Моисеем Прокофьевым, упоминаемым документами в том числе как «помещика их человек» и «калмык»⁴¹, – в последнем

38 Соколова Н.В. *Сельская община и церковный приход в Нижегородской монастырской вотчине XVII – первой половины XVIII вв.* // Мининские чтения: материалы научной конференции. Нижний Новгород, 2003. С. 126–138; Суслова Е.Д. «Волостной нобилитет» Заонежских погостов во второй половине XVII в.: к вопросу о родственных связях и социальном происхождении // Научный диалог. 2015. № 12(48). С. 339–351.

39 Камкин А.В. *Крестьянский мир на Русском Севере*. Вологда: Русь, 1995. № 8–11.

40 *Записки Л.А. Травина* [Публ. Л. Софийского] // Труды Псковского археологического общества. Вып. 10. 1913–1914 г. Псков, 1914. С. 37–129.

41 *Материалы по истории волнений на крепостных мануфактурах в XVIII веке* / Ред. Б.Д. Греков. М.; Л., 1937.

случае речь идет о грамотном придворном человеке Демидова, «чужом» по отношению к крестьянскому миру, с которым он работал, о калмыцком рабе, купленном в Сибири, «ясыре»⁴². Об экспертизе, предлагавшейся подобными профессионалами письма, можно судить по письмам Михаила Мирзина – бывшего (до 1744 года) старообрядца, избранного в 1753 году монастырскими крестьянами Шацкого уезда для «суда и расправы». После составления челобитной на высочайшее имя в том же году Мирзин руководил отправившимися с ней в Петербург ходоками, давая им наставления как по корректировке текста, так и по выбору тактики подачи. Ближайший аналог этих наставлений – советы отца к сыну, содержащиеся в семейной переписке стряпчих суздальского Покровского девичьего монастыря Белиных 1673–1674 годов⁴³.

Говоря обо всех этих мастерах письма и людях, прибегавших к их помощи, услугам и посредничеству, стоит учитывать, что, да, возможно, их мастерство часто лучше всего видно нам в критических ситуациях острого и открытого конфликта или применения насилия. Между тем в «нормальной» ситуации их навыки применялись скорее всего в зоне, более спокойной⁴⁴. И все же практика использования письма могла создавать ситуации, одной стороной воспринимавшиеся как вполне бесконфликтные и нейтральные или эмансипаторные, но одновременно они могли приводить к неожиданным эффектам угнетения на другой стороне. «История отовсюду» должна быть равно внимательна к любой из этих ситуаций.

В том числе стоит помнить, например, что административное письмо – инструмент угнетения. Сколь бы ни было письмо продуктом и инструментом (по определению Сильвии Феррары) «неизбывного стремления остаться; связей, объединяющих нас с другими; беседы, что мы ведем сами с собой»⁴⁵, за ним все равно – и в самом далеком историческом прошлом, и в настоящем – можно (и стоит) углядывать те мрачные тона, какие открывает в приходе бюрократической цивилизации Джеймс Скотт в книге «Против зерна»⁴⁶. Людям, прожившим развитие интернета в 1990–2020-х, метаморфозы информационной технологии от свободы к тоталитарному контролю, от

АНДРЕЙ КОСТИН

ОТОВСЮДУ И КУДА УГОДНО:
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ...

⁴² О позднейшем приобретении Демидовыми калмыцких рабов-детей см.: Смирнова Т.В. *Приобретение малолетних «инородцев» Н.Н. Демидовым в начале XIX века* // *Тринадцатые Татищевские чтения*. Екатеринбург, 2023. С. 199–204.

⁴³ Раскин Д.И. *Источники по истории общественного сознания русского крестьянства XVIII в.* // Советские архивы. 1983. № 1. С. 48–52; BERELOWITCH A. *Au service du couvent: La correspondance Belin* // *Cahiers du monde Russe*. 2016. Vol. 57. № 2-3. P. 343–369.

⁴⁴ Образец внимательного чтения документов, позволяющий увидеть разные уровни вербального мастерства и письменной экспертизы в том числе на примере самых обыденных документов см.: Швейковская Е.Н. *Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI – начала XVIII века*. М., 2012.

⁴⁵ FERRARA S. *The Greatest Invention: A History of the World in Nine Mysterious Scripts*. New York, 2019.

⁴⁶ SCOTT J.C. *Against the Grain: A Deep History of the Earliest Agrarian States*. New Haven, 2017.



АНДРЕЙ КОСТИН

ОТОВСЮДУ И КУДА УГОДНО:
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ...

творчества к вяжущей рутине известны на собственном опыте. Как бы то ни было, информационная технология остается таковой, и в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации может становиться инструментом эмансипации. В том числе, например, потому что «администрация» или «бюрократия» не монолитная и гомогенная сущность, но гетерогенная структура со своими акторами и механизмами ценностей, внутреннего подчинения, адаптации и сопротивления. Как любой социальный инструмент, информационная технология может использоваться для борьбы, придания сил и персональной ценности, создания групповой идентичности, для чего угодно.

Письмо – технология, лишь ситуативно обретающая социальные смыслы. И «история отовсюду» сможет увидеть, например, в классной комнате среди людей, которые обучаются письму, и тех, кто осознанно стремится к выгодам индоктринации, и тех, кому учеба ломает волю, идентичности и ценности. Равно интересны и те, и те, – и остающиеся к процессу безразличными, больше думая о происходящем за окном, и стремящиеся к новым экспериментам, и задумывающиеся о применении полученного навыка не по назначению, не для укрепления основ, а для их подрыва. Надо быть внимательными к любым текстам и подходить к ним с соответствующими именно им координатами – ведь идеологическая функция языка разлита повсюду, надо только увидеть. Отовсюду и куда угодно.